PG3476
.A92
D35
1926

PG3476
.A92
D35
1926

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

День делового человека

БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК"
№ 116
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ОГОНЕК"
МОСКВА—1926

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00008029153

Вышедшие книжки Библиотеки «Огонек»

КАЙЕННА	ВОЙНА	ОБЕЗЬЯНИЙ	А. ЛУНАЧАРСКИЙ • Г. АЛЕДЕВИЧ

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3476
.A92
D35
1926

АРКАДИЙ АВЕРЧЕНКО

PG3476
.A92
D35
1926

ДЕНЬ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ОГОНЕК"
Москва — 1926

Напечатано в типо-
хромо - литографии
„ИСКРА
РЕВОЛЮЦИИ"
::: Мосполиграф :::
Москва, Арбат,
Филипповский, 11.
Тираж. 50.000 экз.
Главлит № 57.638.

ДЕНЬ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

I.

За все пять лет Ниночкиной жизни — сегодня на нее обрушился, пожалуй, самый тяжелый удар: некто, именуемый Колькой, сочинил про нее преядовитый стихотворный памфлет.

День начался обычно: когда Ниночка встала, то нянька, одев ее и напоив чаем, ворчливо сказала:

— А теперь ступай к крыльцу, погляди, какова нынче погодка! Да посиди там подольше, с полчасика, постереги, чтоб дождик не пошел. А потом приди да мне скажи. Интересно, как оно там...

Нянька врала самым хладнокровным образом. Никакая погода ей не была интересна, а просто она хотела отвязаться на полчаса от Ниночки, чтобы на свободе напиться чаю со сдобными сухариками.

Но Ниночка слишком доверчива, слишком благородна, чтобы заподозрить в этом случае подвох... Она кротко одернула на животе передничек, сказала: «Ну, что ж, пойду, погляжу» и вышла на крыльцо, залитое золотистым солнцем.

Неподалеку от крыльца, на ящике из-под пианино, сидели три маленьких мальчика. Это были совершенно новые мальчики, которых Ниночка никогда и не видывала.

Заметив ее, мило усевшуюся на ступеньках крыльца, чтобы исполнить нянькино поручение,—«постеречь, не пошел бы дождик»,— один из трех мальчиков, пошептавшись с приятелями, слез с ящика и приблизился к Ниночке с самым ехидным видом, под личиной наружного простодушия и общительности.

— Здравствуй, девочка,—приветствовал он ее.

— Здравствуйте,—робко отвечала Ниночка.

— Ты здесь и живешь?

— Здесь и живу. Папа, тетя, сестра Лиза, фрейлин, няня, кухарка и я.

— Ого! Нечего сказать,— покривился мальчик.— А как тебя зовут?

— Меня? Ниночка.

И вдруг, вытянув все эти сведения, проклятый мальчишка с бешеной быстротой завертелся на одной ножке и заорал на весь двор:

Нинка - Ниненок,
Серый поросенок,
С горки скатилась,
Грязью подавилась ..

Побледнев от ужаса и обиды, с широко раскрытыми глазами и ртом глядела Ниночка на негодяя, так порочившего ее, а он снова, подмигнув товарищам и

взявшись с ними за руки, завертелся в бешеном хороводе, выкрикивая пронзительным голосом:

Нинка-Ниненок,
Серый поросенок,
С горки скатилась,
Грязью подавилась...

Страшная тяжесть легла на Ниночкино сердце. О боже, боже!.. За что? Кому она стала поперек дороги, что ее так унизили, так опозорили?

Солнце померкло в ее глазах, и весь мир окрасился в самые мрачные тона. Она — серый поросенок?! Она — подавилась грязью? Где? Когда? Сердце болело, как прожженное раскаленным железом, и жить не хотелось.

Сквозь пальцы, которыми она закрыла лицо, текли обильные слезы. Что больше всего убивало Ниночку — это складность опубликованного мальчишкой памфлета. Так больно сознавать, что «Ниненок» прекрасно рифмуется с «поросенком», а «скатилась» и «подавилась», как две одинаково прозвучавшие пощечины, горели на Ниночкином лице несмываемым позором.

Она встала, повернулась к оскорбителям и, горько рыдая, тихо побрела в комнаты.

— Пойдем, Колька, — сказал сочинителю памфлета один из его клевретов, — а то эта плакса пожалуется еще — нам и влетит.

Войдя в переднюю и усевшись на сундук, Ниночка с не просохшим от слез лицом призадумалась. Итак, ее оскорбителя зовут Колька... О, если бы ей приду-

мать подобные же стихи, которыми она могла бы опорочить этого Кольку, — с каким бы наслаждением она бросила их ему в лицо!.. Больше часу просидела она так в темном углу передней, на сундуке, и сердечко ее кипело обидой и жаждой мести.

И вдруг бог поэзии, Аполлон, коснулся ее чела перстом своим. Неужели?.. Да, конечно! Без сомнения, у нее на Кольку будут тоже стихи. И нисколько не хуже давешних!

О, первые радости и муки творчества!

Ниночка несколько раз прорепетировала себе под нос те жгучие огненные стихи, которые она швырнет Кольке в лицо, и кроткое личико ее озарилось неземной радостью: теперь Колька узнает, как затрагивать ее.

Она сползла с сундука и, повеселевшая, с бодрым видом, снова вышла на крыльцо.

Теплая компания мальчишек почти у самого крыльца затеяла крайне незамысловатую, но приводившую всех трех в восторг игру... Именно — каждый по очереди, приложив большой палец к указательному так, что получалось нечто вроде кольца, плевал в это подобие кольца, держа руку от губ на четверть аршина. Если плевок пролетал внутри кольца, не задев пальцев, — счастливый игрок радостно улыбался. Если же у кого-нибудь слюна попадала на пальцы, то этот неловкий молодой человек награждался оглушительным хохотом и насмешками. Впрочем, он не особенно горевал от такой неудачи, а вытерев мокрые пальцы о край

блузки, с новым усердием погружался в увлекательную игру.

Ниночка полюбовалась немного на происходившее, потом поманила пальцем своего оскорбителя и, нагнувшись с крыльца к нему, спросила с самым невинным видом:

— А тебя как зовут?

— А что? — подозрительно спросил осторожный Колька, чуя во всем этом какой-то подвох.

— Да ничего, ничего... Ты только скажи: как тебя зовут?

У нее было такое простодушное, наивное лицо, что Колька поддался на эту удочку.

— Ну, Колька, — прохрипел он.

— А-а-а... Колька...

И быстрой скороговоркой выпалила сияющая Ниночка:

Колька-Коленок,
Серый поросенок
С горки скатился,
Подавился грязью...

Тут же она бросилась в предусмотрительно оставленную ею полуоткрытую дверь, а вслед ей донеслось:

— Дура собачья!

II

Немного успокоенная, побрела она к себе в детскую. Нянька, разложив на столе какую-то матерчатую дрянь, выкраивала из нее рукава.

— Няня, дождик не идет.

— Ну и хорошо.

— Что ты делаешь?

— Не мешай мне.

— Можно смотреть?

— Нет, нет уж, пожалуйста. Пойди лучше, посмотри, что делает Лиза.

— А потом что? — покорно спрашивает исполнительная Ниночка.

— А потом скажешь мне.

— Хорошо...

При входе Ниночки, четырнадцатилетняя Лиза поспешно прячет под стол книгу в розовой обертке, но, разглядев, кто пришел, снова вынимает книгу и недовольно говорит:

— Тебе чего надо?

— Няня сказала, чтобы я посмотрела, что ты делаешь?

— Уроки учу. Не видишь, что ли?

— А можно мне около тебя посидеть? Я тихо.

Глаза Лизы горят, да и красные щеки еще не остыли после книги в розовой обертке. Ей не до сестренки.

— Нельзя, нельзя. Ты мне будешь мешать.

— А няня говорит, что я ей тоже буду мешать.

— Ну, так вот что... Пойди, посмотри, где Тузик? Что с ним?

— Да он, наверное, в столовой около стола лежит.

— Ну вот. Так ты пойди, посмотри, там ли он, погладь его и дай ему хлеба.

Ни одной минуты Ниночке не приходит в голову, что от нее хотят избавиться. Просто ей дается ответственное поручение — вот и все.

— А когда он в столовой, так придти к тебе и сказать? — серьезно спрашивает Ниночка.

— Нет! Ты тогда пойди к папе и скажи, что покормила Тузика. Вообще, посиди там у него, понимаешь?..

— Хорошо...

С видом деловитой хозяйки-хлопотуньи спешит Ниночка в столовую. Гладит Тузика, дает ему хлеба и потом озабоченно мчится к отцу (вторая половина поручения — сообщить о Тузике отцу):

— Папа!

Папы в кабинете нет.

— Папа!

Папы нет в гостиной.

— Папа!

Наконец-то... Папа сидит в комнате фрейлин, близко наклонившись к этой последней, держа ее руку в своей руке.

При появлении Ниночки, он сконфуженно откидывается назад и говорит с немного преувеличенной радостью и изумлением:

— А-а! Кого я вижу! Наша многоуважаемая дочь! Ну, как ты себя чувствуешь, свет очей моих?

— Папа, я уже покормила Тузика хлебом.

— Ага... И хорошо, брат, сделала; потому они, жи-

вотные эти, без пищи, тово... Ну, а теперь иди себе, голубь мой сизокрылый.

— Куда, папа?

— Ну... Пойди ты вот куда... Пойди ты... гм!.. Пойди ты к Лизе и узнай, что она там делает.

— Да я уже только была у нее. Она уроки учит.

— Вот как... Приятно, приятно.

Он красноречиво глядит на фрейлин, потихоньку гладит ее руку и неопределенно мямлит:

— Ну... В таком разе... пойди ты к этой самой... пойди ты к няньке и погляди ты... чем там занимается вышесказанная нянька?

— Она что-то шьет там.

— Ага... Да постой! Ты сколько кусков хлеба дала Тузику?

— Два кусочка.

— Эка расщедрилась! Разве такой большой пес может быть сыт двумя кусочками? Ты ему, ангел мой, еще вкати... Кусочка, этак, четыре. Да посмотри, кстати, не грызет ли он ножку стола.

— А если грызет, придти и сказать тебе, да? — глядя на отца светлыми, ласковыми глазами, спрашивает Ниночка.

— Нет, брат, ты это не мне скажи, а этой, как ее... Лизе скажи. Это уж по ее департаменту. Да если есть у этой самой Лизы этакая какая-нибудь смешная книжка с картинками, то ты ее, значит, тово, просмотри хорошенько, а потом расскажешь, что ты видела; поняла?

— Поняла. Посмотрю и расскажу.

— Да это, брат, не сегодня. Рассказать можно и завтра. Над нами не каплет. Верно ведь?

— Хорошо. Завтра.

— Ну, путешествуй!

Ниночка путешествует. Сначала в столовую, где добросовестно засовывает Тузику в оскаленную пасть три куска хлеба, потом в комнату Лизы.

— Лиза! Тузик не грызет ножку стола.

— С чем тебя и поздравляю, — рассеянно роняет Лиза, впившись глазами в книгу. — Ну, иди себе.

— Куда итти?

— Пойди к папе. Спроси, что он делает?

— Да я уже была. Он сказал, чтобы ты мне книжку с картинками показала. Ему надо все завтра рассказать...

— Ах ты, господи! Что это за девчонка! Ну, на тебе! Только сиди тихо. А то выгоню.

Покорная Ниночка опускается на скамеечку для ног, разворачивает на коленях данную сестрой иллюстрированную геометрию и долго рассматривает усеченные пирамиды, конусы и треугольники.

— Посмотрела, — говорит она через полчаса, облегченно вздыхая. — Теперь что?

— Теперь? Господи! Вот еще неприкаянный ребенок. Ну, пойди на кухню, спроси у Ариши, что у нас нынче на обед? Ты видела когда-нибудь, как картошку чистят?

— Нет...

— Ну, пойди, посмотри. Потом мне расскажешь.

— Что же. Пойду.

У Ариши гости: соседская горничная и посыльный—«красная шапка».

— Ариша, скоро будешь картошку чистить? Мне надо смотреть.

— Где там скоро! И через час не уберусь.

— Ну я посижу, подожду.

— Нашла себе место, нечего сказать!.. Пойди лучше к няньке, скажи, чтоб она тебе чего-нибудь дала.

— А чего?

— Ну, там она знает — чего.

— Чтобы сейчас дала?

— Да, да, сейчас. Иди, себе, иди.

III.

Целый день быстрые ножки Ниночки переносят ее с одного места на другое. Хлопот уйма, поручений — по горло. И все самые важные, неотложные.

Бедная, «неприкаянная» Ниночка.

И только к вечеру, забредя случайно в комнаты тети Веры, Ниночка находит настоящий приветливый прием.

— А-а, Ниночка, бурно встречает ее тетя Вера.— Тебя-то мне и надо. — Слушай, Ниночка... ты меня слушаешь?..

— Да, тетя, слушаю.

— Вот что, милая. Ко мне сейчас придет Александр Семеныч. Ты его знаешь?

— Такой с усами?

— Вот именно. И ты, Ниночка (тетя странно и тяжело дышет, держась одной рукой за сердце), ты, Ниночка, сиди у меня, пока он здесь, и никуда не уходи. Слышишь? Если он будет тебе говорить, что тебе пора спать, ты говори, что не хочешь... Слышишь?

— Хорошо. Значит, ты меня никуда не пошлешь?

— Что ты! Куда же я тебя пошлю? Наоборот, сиди тут и больше никаких. Поняла? . . . . . .

. . . . . .

— Барыня! Ниночку можно взять? Ей уж спать давно пора.

— Нет, нет, — она еще посидит со мной. Правда, Александр Семеныч?

— Да пусть спать идет, чего там? — говорит этот молодой человек, хмуря брови.

— Нет, нет, я ее не пущу. Я ее так люблю...

А когда Александр Семенович, сохраняя угрюмое выражение лица, уходит, тетя как-то вся опускается, вянет и говорит совсем другим, не прежним тоном:

— А теперь ступай, детка, спать. Нечего тут рассиживаться. Вредно...

**
*

Стягивая с ноги чулочек, усталая, но довольная Ниночка думает про себя, в связи с той молитвой, которую она только что вознесла к небу, по настоянию няньки, за покойную мать:

— А что если и я помру? Кто тогда все делать будет?

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДЕНЬ У КИНДЯКОВЫХ

Одиннадцать часов. Утро морозное, но в комнате тепло. Печь весело гудит и шумит, изредка потрескивая и выбрасывая на железный лист, прибитый к полу на этот случай, целый сноп искр. Неровный отблеск огня уютно бегает по голубым обоям.

Все четверо детей Киндяковых находятся в праздничном, сосредоточенно-торжественном настроении. Всех четверых праздник будто накрахмалил, и они тихонько сидят, боясь пошевелиться, стесненные в новых платьицах и костюмчиках, начисто вымытые и причесанные.

Восьмилетний Егорка уселся на скамеечке у раскрытой печной дверки и, не мигая, вот уже полчаса смотрит на огонь.

На душу его сошло тихое умиление: в комнате тепло, новые башмаки скрипят так, что лучше всякой музыки, и к обеду пирог с мясом, поросенок и желе.

Хорошо жить. Только бы Володька не бил и, вообще, не задевал его. Этот Володька — прямо какое-то мрачное пятно на беспечальном существовании Егорки.

Но Володьке — двенадцатилетнему ученику городского училища — не до своего кроткого меланхоличного брата. Володя тоже всей душой чувствует праздник и на душе его светло.

Он давно уже сидит у окна, стекла которого мороз украсил затейливыми узорами, и читает.

Книга — в старом, потрепанном, видавшем виды переплете, и называется она: «Дети капитана Гранта». Перелистывая страницы, углубленный в чтение Володя, нет-нет, да и посмотрит со стесненным сердцем: много ли осталось до конца? Так горький пьяница с сожалением рассматривает на свет остатки живительной влаги в графинчике.

Проглотив одну главу, Володя обязательно сделает маленький перерыв: потрогает новый лакированный пояс, которым подпоясана свеженькая ученическая блузка, полюбуется на свежий излом в брюках и в сотый раз решит, что нет красивее и изящнее человека на земном шаре, чем он.

А в углу, за печкой, там, где висит платье мамы, примостились самые младшие Киндяковы... Их двое: Милочка (Людмила) и Карасик (Костя). Они, как тараканы, выглядывают из своего угла и все о чем-то шепчутся.

Оба еще со вчерашнего дня уже решили эмансипироваться и зажить своим домком. Именно: накрыли ящичек из-под макарон носовым платком и расставили на этом столе крохотные тарелочки, на которых аккуратно разложены: два кусочка колбасы, кусочек сыру, одна сардинка и несколько карамелек. Даже две буты-

лочки из-под одеколона украсили этот торжественный стол: в одной — «церковное» вино, в другой — цветочек, — все, как в первых домах.

Оба сидят у своего стола, поджавши ноги и не сводят восторженных глаз с этого произведения уюта и роскоши.

И только одна ужасная мысль грызет их сердца, что, если Володька обратит внимание на устроенный ими стол? Для этого прожорливого дикаря нет ничего святого: сразу налетит, одним движением опрокинет себе в рот колбасу, сыр, сардинку и улетит, как ураган, оставив позади себя мрак и разрушение.

— Он читает, — шепчет Карасик.

— Пойди, поцелуй ему руку... Может, тогда не тронет. Пойдешь?

— Сама пойди, — сипит Карасик. — Ты девочта.

Буквы «к» Карасик не может выговорить. Это для него закрытая дверь. Он даже имя свое произносит так:

— Тарасит.

Милочка со вздохом встает и идет с видом хлопотливой хозяйки к грозному брату. Одна из его рук лежит на краю подоконника: Милочка тянется к ней, к этой загрубевшей от возни со снежками, покрытой рубцами и царапинами от жестоких битв, страшной руке... Целует свежими розовыми губками.

И робко глядит на ужасного человека.

Эта умилостивительная жертва смягчает Володино сердце. Он отрывается от книги:

— Ты что, красавица? Весело тебе?

— Весело.

— То-то. А ты вот такие пояса видала?

Сестра равнодушна к эффектному виду брата, но чтобы подмазаться к нему, хвалит:

— Ах, какой пояс! Прямо прелесть!..

— То-то и оно. А ты понюхай, чем пахнет.

— Ах, как пахнет!... Прямо — кожей.

— То-то и оно.

Милочка отходит в свой уголок и снова погружается в немое созерцание стола. Вздыхает... Обращается к Карасику:

— Поцеловала.

— Не дерется?

— Нет. А там окно такое замерзнутое.

— А Егорка стола не тронет? Пойди и ему поцелуй руку.

— Ну, вот еще! Всякому целовать. Чего недоставало!

— А если он на стол наплюнет?

— Пускай, а мы вытерем.

— А если на толбасу наплюнет?

— А мы вытерем. Не бойся, я сама с'ем. Мне не противно.

В дверь просовывается голова матери.

— Володенька! К тебе гость пришел, товарищ.

Боже, какое волшебное изменение тона! В будни разговор такой: «Ты что же это, дрянь паршивая, с курями клевал, что ли? Где в чернила убрался? Вот придет отец, скажу ему — он тебе пропишет ижицу. Сын, а хуже босявки!»

А сегодня мамин голос — как флейта. Вот это праздничек!

Пришел Коля Чебурахин.

Оба товарища чувствуют себя немного неловко в этой атмосфере праздничного благочиния и торжественности.

Странно видеть Володе, как Чебурахин шаркнул ножкой, здороваясь с матерью, и как представился созерцателю-Егорке:

— Позвольте представиться, Чебурахин. Очень приятно.

Как все это необычно! Володя привык видеть Чебурахина в другой обстановке, и манеры Чебурахина обыкновенно были иные.

Чебурахин обыкновенно ловил на улице зазевавшегося гимназистика, грубо толкал его в спину и сурово спрашивал:

— Ты чего задаешься?

— А что? — в предсмертной тоске шептал робкий «карандаш». — Я ничего.

— Вот тебе и ничего! По морде хочешь схватить?

— Я ведь вас не трогал, я вас даже не знаю.

— Говори: где я учусь? — мрачно и величественно спрашивал Чебурахин, указывая на потускневший полуоборванный герб на фуражке.

— В городском.

— Ага! В городском! Так почему же ты, мразь несчастная, не снимаешь передо мной шапку? Учить нужно?

Ловко сбитая Чебурахиным гимназическая фуражка летит в грязь. Оскорбленный, униженный гимназист горько рыдает, а Чебурахин, удовлетворенный, «как тигр (его собственное сравнение) крадется» дальше.

И вот теперь этот страшный мальчик, еще более страшный, чем Володя, — вежливо здоровается с мелкотой, а когда Володина мать спрашивает его фамилию и чем занимаются его родители, яркая горячая краска заливает нежные, смуглые, как персик, Чебурахинские щеки.

Взрослая женщина беседует с ним, как с равным, она приглашает садиться! Поистине, это Рождество делает с людьми чудеса!

Мальчики садятся у окна и, сбитые с толку необычностью обстановки, улыбаясь, поглядывают друг на друга.

— Ну, вот хорошо, что ты пришел. Как поживаешь?

— Ничего себе, спасибо. Ты что читаешь?

— «Дети капитана Гранта». Интересная!

— Дашь почитать?

— Дам. А у тебя не порвут?

— Нет, что ты! (Пауза). А я вчера одному мальчику по морде дал.

— Ну?

— Ей-богу. Накажи меня бог, дал. Понимаешь, иду я по Слободке, ничего себе не думаю, а он ка-ак мне кирпичиной в ногу двинет! Я уж тут не стерпел. Кэ-эк ахну!

— После Рождества надо пойти на Слободку бить мальчишек. Верно?

— Обязательно пойдем. Я резину для рогатки купил. (Пауза). Ты бизонье мясо ел когда-нибудь?

Володе смертельно хочется сказать: «ел». Но никак невозможно... Вся жизнь Володи прошла на глазах Чебурахина, и такое событие, как потребление в пищу бизоньего мяса, никак не могло бы пройти незамеченным в их маленьком городке.

— Нет, не ел. А, наверное, вкусное. (Пауза). Ты бы хотел быть пиратом?

— Хотел. Мне не стыдно. Все равно, пропащий человек...

— Да и мне не стыдно. Что ж, пират такой же человек, как другие. Только что грабит.

— Понятно! Зато приключения (Пауза). А позавчера я одному мальчику тоже по зубам дал. Что это, в самом деле, такое? Наябедничал на меня тетке, что курю (Пауза). А австралийские дикари мне не симпатичны, знаешь! Африканские негры лучше.

— Бушмены. Они привязываются к белым.

А в углу бушмен Егорка уже, действительно, привязался к белым:

— Дай конфету, Милка, а то на стол плюну.

— Пошел, пошел! Я маме скажу.

— Дай конфету, а то плюну.

— Ну, и плюй. Не дам.

Егорка исполняет свою угрозу и равнодушно отходит к печке. Милочка стирает передничком с колбасы плевок и снова аккуратно укладывает ее на тарелку В глазах ее — долготерпение и кротость.

Боже, сколько в доме враждебных элементов. Так и приходится жить — при помощи ласки, подкупа и унижения.

— Этот Егорка меня смешит, — шепчет она Карасику, чувствуя некоторое смущение.

— Он дурат. Тат будто это его тонфеты.

А к обеду приходят гости: служащий в пароходстве Челибеев с женой и дядя Аким Семеныч. Все сидят, тихо перебрасываясь односложными словами, до тех пор, пока не уселись за стол.

За столом шумно.

— Ну, кума, и пирог! — кричит Челибеев. — Всем пирогам пирог.

— Где уж там! Я думала, что совсем не выйдет. Такие паршивые печи у этом городе, что хоть на грубке пеки.

— А поросенок! — восторженно кричит Аким, которого все немного презирают за его бедность и восторженность. — Это ж не поросенок, а чорт знает, что такое.

— Да, и подумайте: такой поросенок, что тут и смотреть нечего — два рубли!!! С ума они посходили там на базаре, чи што! Кура — рубль, а к индюшкам приступу нет! И что оно такое будет дальше, прямо неизвестно.

В конце обеда произошел инцидент: жена Челибеева опрокинула стакан с красным вином и залила новую блузку Володи, сидевшего подле.

Киндяков-отец стал успокаивать гостью, а Киндякова-мать ничего не сказала... Но по лицу ее было видно, что если бы это было не у нее в доме, и был бы не праздник, — она бы взорвалась от гнева и обиды за испорченное добро, как пороховая мина.

Как воспитанная женщина, как хозяйка, понимающая, что такое хороший тон, — Киндякова-мать предпочла накинуться на Володю:

— Ты чего тут под рукой расселся! И что это за паршивые такие дети, они готовы мать в могилу заколотить. Поел, кажется, и ступай. Расселся, как городской голова! До неба скоро вырастешь, а все дураком будешь. Только в книжки свои нос совать мастер!

И сразу потускнел в глазах Володи весь торжественный праздник, все созерцательно-восторженное настроение... Блузка украсилась зловещим темным пятном, душа оскорблена, втоптана в грязь в присутствии посторонних лиц, и главное — товарища Чебурахина, который тоже сразу потерял весь свой блеск и очарование необычности.

Хотелось встать, уйти, убежать куда-нибудь.

Встали, ушли, убежали. Оба. На Слободку.

И странная вещь: не будь темного пятна на блузке — все кончилось бы мирной прогулкой по тихим рождественским улицам.

Но теперь, как решил Володя, «терять было нечего».

Действительно, сейчас же встретили трех гимназистов-второклассников.

— Ты чего задаешься? — грозно спросил Володя одного из них.

— Дай ему, дай, Володька! — шептал сбоку Чебурахин.

— Я не задаюсь,— резонно возразил гимназистик.— А вот ты сейчас макарон получишь.

— Я?

В голосе Володи сквозило непередаваемое презрение.

— Я? Кто вас, несчастных, от меня отнимать будет?

— Сам, форсила несчастная!

— Эх! — крикнул Володя (все равно, блуза уже не новая!), лихим движением сбросил с плеч пальто и размахнулся.

. . . . . .

А от угла переулка уже бежали четыре гимназиста на подмогу своим . . . . . .

. . . . . .

— Что ж они, сволочи паршивые, семь человек на двух! — хрипло говорил Володя, еле шевеля распухшей, будто чужой губой и удовлетворенно поглядывая на друга затекшим глазом.— Нет, ты, брат, попробуй два на два... Верно?

— Понятно.

И остатки праздничного настроения сразу исчезли— его сменили обычные будничные дела и заботы.

СЛАВНЫЙ РЕБЕНОК

I.

Проснувшись, мальчик Сашка повернулся на другой бок и стал думать о промелькнувшем, как сон, вчерашнем дне.

Вчерашний день был для Сашки полон тихих детских радостей: во-первых, он украл у квартиранта полкоробки красок и кисточку, затем, пристав описывал в гостиной мебель и, в-третьих, с матерью был какой-то припадок удушья... Звали доктора, пахнущего мылом, приходили соседки; вместо скучного обеда, все домашние ели ветчину, сардины и балык, а квартиранты пошли обедать в ресторан, — что было тоже неожиданно-любопытно и непохоже на ряд предыдущих дней.

Припадок матери, кроме перечисленных веселых минут, дал Сашке еще и практические выгоды: когда его послали в аптеку, он утаил из сдачи двугривенный, а потом забрал себе все бумажные колпачки от аптечных бутылочек и коробку из-под пилюль.

Несмотря на кажущуюся вздорность увлечения колпачками и коробочками, Сашка — прехитрый мальчик.

Хитрость у него чисто звериная, упорная, непоколебимая. Однажды квартирант Возженко заметил, что у него пропал тюбик с краской и кисть. Он стал запирать ящик с красками в комод и запирал их, таким образом, целый месяц. И целый месяц, каждый день после ухода квартиранта Возженко, Сашка подходил к комоду и пробовал, заперт ли он? Расчет у Сашки был простой—забудет же когда-нибудь Возженко запереть комод...

Вчера как раз Возженко забыл сделать это.

Сашка, лежа, даже зажмурился от удовольствия и сознания, сколько чудес натворил он этими красками. Потом Сашка вынул из-под одеяла руку и разжал ее: со вчерашнего дня он все время носил в ней аптекарский двугривенный и спать лег, раздевшись одной рукой.

Двугривенный, влажный, грязный был здесь.

II.

Налюбовавшись двугривенным, Сашка вернулся к своим утренним делишкам.

Первой его заботой было узнать, что готовит мать ему на завтрак. Если котлеты — Сашка поднимет капризный крик и заявит, что, кроме яиц, он ничего есть не может. Если же яйца — Сашка поднимет такой же крик и выразит самые определенные симпатии к котлетам и отвращение к «этим паршивым яйцам».

На тот случай, если мать, расщедрившись, приготовит и то, и другое, Сашка измыслил для себя недур-

ную лазейку: он потребует оставшиеся от вчерашнего пира сардины.

Мать он любит, но любовь эта странная — полное отсутствие жалости и легкое презрение.

Презрение укоренилось в нем с тех пор, как он заметил в матери черту, свойственную всем почти матерям: иногда за пустяк, за какой-нибудь разбитый им бокал, она поднимала такой крик, что можно было оглохнуть А за что-нибудь серьезное, вроде позавчерашнего дела с пуговицами, — она только переплетала свои пухлые пальцы (Сашка сам пробовал сделать это, но не выходило — один палец оказывался лишним) и восклицала с легким стоном:

— Сашенька! Ну, что же это такое? Ну, как же это можно? Ну, как же тебе не стыдно?

Даже сейчас, натягивая на худые ножонки чулки, Сашка недоумевает, каким образом могли догадаться, что история с пуговицами — дело рук его, Сашки, а не кого-нибудь другого?

История заключалась в том, что Сашка, со свойственным ему азартом, увлекся игрой в пуговицы... Проигравшись до тла, он оборвал с себя все, что было можно: штанишки его держались только потому, что он все время надувал живот и ходил, странно выпячиваясь. Но когда фортуна решительно повернулась к нему спиной, Сашка задумал одним грандиозным взмахом обогатить себя: встал ночью с кровати, обошел, неслышно скользя, все квартирантские комнаты и, вооружившись ножницами, вырезал все до одной пуговицы, бывшие в их квартире.

На другой день квартиранты не пошли на службу, а мать долго, до обеда, ходила по лавкам, подбирая пуговицы, а после обеда сидела с горничной до вечера и пришивала к квартирантовым брюкам и жилетам целую армию пуговиц.

— Не понимаю... Как она могла догадаться, что это я? — поражался Сашка, натягивая на ногу башмак и положив по этому случаю двугривенный в рот.

III.

Отказ есть приготовленные яйца и требование котлет заняло Сашкино праздное время на полчаса.

— Почему ты не хочешь есть яйца, негодный мальчишка?

— Так!

— Как — так?

— Да так!

— Ну, так знай же, котлеты ты не получишь!

— И не надо!

Сашка бьет наверняка. Он с деланной слабостью отходит к углу и садится на ковер.

«Бледный он какой-то сегодня», — думает сердобольная мать.

— Сашенька, милый, ну, скушай же яйца! Мама просит.

— Не хочу! Сама ешь!

— А, чтоб ты пропал, болван! Вот выростила идиота...

Мать встает и отправляется на кухню.

С'ев котлету, Сашка с головой окунается в омут мелких и крупных дел.

Озабоченный, идет он прежде всего в коридор и, открыв сундучек горничной Лизаветы, плюет в него. Это за то, что она вчера два раза толкнула его и пожалела замазки, оставшейся после стекольщиков.

Свершив акт правосудия, идет на кухню и хнычет, чтобы ему дали пустую баночку и сахару.

— Для чего тебе?

— Надо.

— Да для чего?

— Надо!

— Надо, надо... А для чего надо? Вот — не дам!

— Дай, дура! А то матери расскажу, как ты вчера из графина для солдата водку отливала... Думаешь не видел?

— На, чтоб ты пропал!

Желание кухарки исполняется: Сашка исчезает. Он сидит в ванной и ловит на пыльном окне мух. Наловив в баночку, доливает водой и насыпает сахара и долго взбалтывает эту странную настойку, назначение которой для самого изобретателя загадочно и неизвестно.

До обеда еще далеко. Сашка решает пойти посидеть к квартиранту Григорию Ивановичу, который находится дома и что-то пишет.

— Здравствуйте, Григориваныч, — сладеньким тонким голоском приветствует его Сашка.

— Пошел, пошел вон. Мешаешь только.

—Да я здесь посижу. Я не буду мешать.

У Сашки определенных планов пока нет, и все может зависеть только от окружающих обстоятельств: может быть, удастся, когда квартирант отвернется, стащить перо или нарисовать на написанном смешную рожу, или сделать что-либо другое, что могло бы на весь день укрепить в Сашке хорошее расположение духа.

— Говорю тебе — убирайся!

— Да что я вам мешаю, что ли?

— Вот я тебя сейчас за уши да за дверь... Ну?

— Ма-ама-а!!! — жалобно кричит Сашка, зная, что мать в соседней комнате.

— Что такое? — слышится ее голос.

— Тш!.. Чего ты кричишь, — шипит квартирант, зажимая Сашке рот. — Я же тебя не трогаю. Ну, молчи, молчи, милый мальчик...

— Ма-а-ма! Он меня прогоняет!

— Ты, Саша, мешаешь Григорию Ивановичу, — входит мать. — Он вам, вероятно, мешает?

— Нет, ничего, — помилуйте, — морщится квартирант. — Пусть сидит.

— Сиди, Сашенька, только смирненько.

«Черти бы тебя подрали с твоим Сашенькой», — думает квартирант, а вслух говорит:

— Бойкий мальчуган! Хе-хе! Общество старших любит...

— Да, уж он такой, — подтверждает мать.

IV.

За обедом Сашке — сплошной праздник.

— Я котлет не желаю!

— Почему?

— Они с волосами.

— Что ты врешь! Не хочешь? Ну, и пухни с голоду.

Сашка, заинтересованный этой перспективой, отодвигает котлеты и, притихший, сидит, ни до чего не дотрагивается минут пять. Потом решив, что наголодался за этот промежуток достаточно — пробует потихоньку живот: не распух ли?

Так как живот нормален, то Сашка дает себе слово когда-нибудь на свободе заняться этим вопросом серьезнее — голодать до тех пор, пока не вспухнет, как гора.

V.

Обед кончен, но бес хлопотливости попрежнему не покидает Сашки.

До отхода ко сну нужно успеть еще зайти к Григорию Ивановичу и вымазать салом все стальные перья на письменном столе (идея, родившаяся во время визита), а потом, не позабыть бы украсть для сапожникова Борьки папирос и вылить баночку с мухами в Лизаветин сундук за то, что толкнула.

Даже улегшись спать, Сашка лелеет и обдумывает последний план: выждавши, когда все заснут, — пробраться в гостиную и отрезать красные сургучные печати, висящие на ножках столов кресел и на картинах...

Они очень и очень пригодятся Сашке.

ВЕЧЕРОМ

Подперев руками голову, я углубился в «Историю» французской революции» и забыл все на свете.

Сзади меня потянули за пиджак. Потом поцарапали ногтем по спине. Потом под мою руку была просунута глупая морда деревянной коровы. Я делал вид, что не замечаю этих ухищрений. Сзади прибегли к безуспешной попытке сдвинуть стул. Потом сказали:

— Дядя!

— Что тебе, Лидочка?

— Что ты делаешь?

С маленькими детьми я принимаю всегда преглупый тон.

— Я читаю, дитя мое, о тактике жирондистов.

Она долго смотрит на меня.

— А зачем?

— Чтобы бросить яркий луч аналитического метода на неясности тогдашней кон'юнктуры.

— А зачем?

— Для расширения кругозора и пополнения мозга серым веществом.

— Серым?

— Да. Это патологический термин.

— А зачем?

У нее дьявольское терпение. Свое «а зачем» она может задавать тысячу раз.

— Лида! Говори прямо, что тебе нужно? Запирательство только усилит твою вину.

Женская непоследовательность. Она отвечает:

— Мне ничего не надо. Я хочу посмотреть картинки.

— Ты, Лида, — вздорная, пустая женщина. Возьми журнал и беги в паническом страхе в горы.

— И потом, я хочу сказку.

Около ее голубых глаз и светлых волос «История революции» бледнеет.

— У тебя, милая, спрос превышает предложение. Это нехорошо. Расскажи лучше ты мне.

Она карабкается на колени и целует меня в шею.

— Надоел ты мне, дядька, со сказками. Расскажи, да расскажи. Ну, слушай... Ты про Красную Шапочку не знаешь?

Я делаю изумленное лицо.

— Первый раз слышу.

— Ну, слушай... Жила была Красная Шапочка...

— Виноват... Не можешь ли ты указать точно ее местожительство? Для уяснения при развитии фабулы.

— А зачем?

— Где она жила?!

Лида задумывается и указывает единственный город, который она знает:

— В этом... В Симферополе.

— Прекрасно! Я сгораю от любопытства слушать дальше.

— ...Взяла она маслицо и лепешечку и пошла в лес к бабушке...

— Состоял ли лес в частном владении или составлял казенную собственность?

Чтобы отвязаться, она сухо бросает:

— Казенная. Шла, шла вдруг из лесу волк!

— По латыни — Lupus.

— Что?

— Я спрашиваю: большой волк?

— Вот такой. И говорит ей...

Она морщит нос и рычит:

— Красная Шапочка... Куда ты идешь?

— Лида! Это — неправда! Волки не говорят. Ты обманываешь своего старого, жалкого дядьку.

Она страдальчески закусывает губу.

— Я больше не буду рассказывать сказки.

Мне стыдно.

— Ну, я тебе расскажу. Жил-был мальчик...

— А где он жил? — ехидно спрашивает она.

— Он жил у Западных отрогов Урала. Как-то папа взял его и понес в сад, где росли яблоки. Посадил под деревом, а сам влез на дерево рвать яблоки. Мальчик и спрашивает: папаша, яблоки имеют лапки? — Нет, милый. — Ну, значит, я жабу слопал!

Рассказ идиотский, нелепый, подслушанный мной однажды у полупьяной няньки. Но на Лиду он производит потрясающее впечатление.

— Ай! С'ел жабу?

— Представь себе. Очевидно, притупление вкусовых сосочков. А теперь ступай. Я буду читать.

Минут через двадцать знакомое дергание за пиджак, легкое царапание ногтем и шопот:

— Дядя! Я знаю сказку.

Отказать ей трудно. Глаза сияют, как звездочки, и губки топырятся так смешно...

— Ну, ладно. Излей свою наболевшую душу.

— Сказка! Жила-была девочка. Взяла ее мама в сад, где росли, эти самые... груши. Влезла на дерево, а девочка под грушей сидит. Хорошо-о. Вот девочка спрашивает: мама! груши имеют лапки?—Нет детка.— Ну, значит, я курицу слопала!

— Лидка! Да ведь это моя сказка!

Дрожа от восторга, она машет руками и кричит:

— Нет, моя, моя, моя! У тебя другая.

— Лида! Знаешь ты, что это — плагиат? Стыдись!

Чтобы замять разговор, она просит:

— Покажи картинки.

— Ладно. Хочешь я найду в журнале твоего жениха?

— Найди.

Я беру старый журнал, отыскиваю чудовище, изображающее гоголевского Вия, и язвительно преподношу его девочке.

— Вот твой жених.

В ужасе она смотрит на страшилище, а затем, скрыв горькую обиду, говорит с притворной лаской:

— Хорошо-о... Теперь дай ты мне книгу — я твоего жениха найду.

—Ты хочешь сказать: невесту?

— Ну, невесту.

Опять тишина. Влезши на диван, Лида тяжело дышет и все перелистывает книгу, перелистывает...

— Пойди сюда, дядя, — неуверенно подзывает она,— вот твоя невеста...

Палец ее робко ложится на корявый ствол старой растрепанной ивы.

— Э, нет, милая. Какая же это невеста? Это дерево. Ты поищи женщину пострашнее.

Опять тишина и частый шорох переворачиваемых листов. Потом тихий, тонкий плач.

— Лида, Лидочка... Что с тобой?

Едва выговаривая от обильных слез, она бросается ничком на книгу и горестно кричит:

— Я не могу... найти... для тебя... страшную... невесту.

Пожав плечами, сажусь за революцию, углубляюсь в чтение. Тишина... Оглядываюсь.

С непросохшими глазами, Лида держит перед собой дверной ключ и смотрит на меня в его отверстие. Ее удивляет, что если ключ держать к глазу близко, то я виден весь, а если отодвинуть, то только кусок меня.

Кряхтя, она сползает с дивана, приближается ко мне и смотрит в ключ на расстоянии вершка от моей спины.

И в глазах ее сияет неподдельное изумление и любопытство перед неразрешимой загадкой природы.

ДЕТВОРА

Существует такая рубрика шуток и острот, которая занимает очень видное место на страницах юмористических журналов, — рубрика, без которой не обходится ни один самый маленький юмористический отдел в газете.

Рубрика эта — «Наши дети».

Соль острот «Наши дети» всегда в том, что вот, дескать, какие ужасные пошли нынче дети, как мир изменился, и как ребята постепенно делаются совершенно невыносимыми, ставя своих родителей и знакомых в ужасное положение.

Обыкновенно, остроты «Наши дети» фабрикуются по одному и тому же методу:

— Бабушка, ты видела Лысую гору?

— Нет, милый.

— А как же папа говорил вчера, ты сущая ведьма?

— Володя, поцелуй маму, — говорит папа. — Поблагодари ее за обед.

— А почему,—говорит Володя,—вчера дядя Гриша целовал в будуаре маму перед обедом?

Или совсем просто:

— Дядя, ты лысый дурак?

— Что ты, Лизочка!

— Ну да, мама. Ты сама же вчера сказала папе, что дядя — лысый дурак.

Бывают сюжеты настолько затасканные, что они уже перестают быть затасканными, перестают быть «дурным тоном литературы». Таков сюжет «Наши дети».

Поэтому, я и хочу рассказать сейчас историю о «Наших детях».

От праздничных расходов, от покупок разных гусей, сапог, сардин, нового самовара, икры и браслетки для жены—у чиновника Плешихина осталось немного денег.

Он остановился у витрины игрушечного магазина и, разглядывая игрушки, подумал:

Куплю-ка я что-нибудь особенное своему Ваньке. Этакое что-нибудь с заводом и пружиной!

Зашел в магазин.

— Дайте что-нибудь этакое для мальчишки восьми-девяти лет?

Когда ему показали несколько игрушек, он пришел в восторг от искусно сделанного жокея на собаке: собака перебирала ногами, а жокей качался взад и вперед и натягивал возжи, как живой. Долго смотрел на него Плешихин, смеялся, удивлялся и просил завести снова и снова.

Возвращаясь, ног под собой не чувствовал от радости, что напал на такую прекрасную вещь.

Дома, раздевшись и проходя мимо детской, услышал голоса. Приостановился...

— О чем там они совещаются? Мечтают, наверное, ангелочки, о сюрпризах, гадают, какие кому достанутся подарки... Обуреваемы любопытством — будет ли елка... О, золотое детство!

Разговаривали трое: Ванька, Вова и Лидочка.

— Я все-таки, — говорил Ванька, — стою за то, чтобы их не огорчать. Елку хотят устроить? Пусть! Картонажами ее увешать хотят — пусть забавляются. Но я думаю, что с нашей стороны требуется все-таки самая простая деликатность: мы должны сделать вид, что нам это нравится, что нам весело, что мы в восторге. Ну... можно даже попрыгать вокруг елки и с'есть пару леденцов.

— А по-моему, просто, — сказал прямолинейный Вова, — нужно выразить настоящее отношение к этой пошлейшей елке и ко всему тому, что отдает сюсюканьем и благоглупостями наших родителей. К чему это? Раз это тоска...

— Милый мой! Ты забываешь о традиции. Тебе-то легко сказать, а отец, может быть, из-за этого целую ночь спать не будет, он с детства привык к этому, без этого ему Рождество не в Рождество. Зачем же без толку огорчать старика...

— И смешно, и противно, — усмехнулся Вова, — как это они нынче устраивали елку: заперлись в гостиной, клеют какие-то картонажи, фонарики. Зачем? Что такое! Когда я нарочно спросил, что там делается, тетя Нина ответила: — Там маме шьют новое платье!.. Секрет полишинеля!..

Все засмеялись.

— Братцы! — умоляюще сказал добросердечный Ванька. — Во всяком случае, ради бога, не показывайте вида. Вы смотрите-ка, как я себя буду вести — без неумеренных восторгов, без переигрывания, но просто сделаю вид, что я умилен, что у меня блестят глазки и сердце бьется от восторга. Сделайте это, и мы — порадуем стариков.

**
*

Плешихин открыл дверь и вошел в детскую, сделав вид, что он ничего не слышал.

— Здравствуйте, детки! Ваня, погляди-ка, какой я тебе подарочек принес! С ума сойти можно!

Он развернул бумагу и пустил в ход жокея верхом на собаке.

— Очень мило!—сказал Ваня, захлопав в ладоши.— Как живой! Спасибо, папочка!

— Тебе это нравится?

— Конечно! Почему же бы этой игрушке мне не нравиться? Сработана на диво, в замысле и механике много остроумия, выдумки. Очень, очень мило.

— Ваничка!..

— Что такое?

— Милый мой! Ну, я тебя люблю — ну, будь же и ты со мной откровенен... Скажи мне, как ты находишь эту игрушку и почему у тебя такой странный тон?

Ванька смущенно опустил голову.

— Видишь ли, папа... Если ты позволишь мне быть откровенным, я должен сказать тебе: ты совершенно не знаешь психологии ребенка, его вкусов и влечений

(о, конечно, я не о себе говорю и не о Вове — о присутствующих не говорят). По-моему, ребенку нужна игрушка примитивная, какой-нибудь обрубок или тряпочная кукла, без носа и без глаз, потому что ребенок большой фантазер и любит иметь работу для своей фантазии, наделяя куклу всеми качествами, которые ему придут в голову; а там, где за него все уже представлено мастером, договорено механикой — там ему и его фантазии работать не над чем. Взрослые все время упускают это из вида и, даря детям игрушки, восхищаются ими больше сами, потому что фантазия их суше, изощреннее и может питаться только чем-то, доходящим до полной иллюзии природы, мастерской подделки под эту природу.

Понурив голову, молча, слушал сына чиновник Плешихин.

— Так... Та-ак! И елка, значит, как ты говорил давеча, тоже традиция, которая нужнее взрослым, чем ребятам?

— Ах, ты слышал?.. Ну, что же делать!.. Во всяком случае, мы настолько деликатны, что ни за что не дали бы вам почувствовать той пошлой фальши и того вашего смешного положения, которые для постороннего ума так заметны...

Чиновник Плешихин прошелся по комнате раза три, задумавшись.

Потом круто повернулся к сыну и сказал:

— Раздевайся! Сейчас сечь тебя буду.

На губах Ваньки мелькнула страдальческая гримаса.

— Пожалуйста... На твоей стороне сила — я знаю!

И я понимаю, что то, что ты хочешь сделать — нужнее и важнее не для меня, а, главным образом, для тебя. Не буду, конечно, говорить о дикости, о некультурности и скудости такого аргумента при споре, как сечение, драка... Это общее место. И, если хочешь — я даже тебя понимаю и оправдываю... Ты устал, заработался, измотался, истратился, у тебя настроение подавленное, сердитое, скверное. Нужно на ком-нибудь сорвать злость — на мне или на другом — все равно! Ну, что ж — раз мне выпало на долю стать об'ектом твоего дурного настроения — я покоряюсь и добавлю, даже не сержусь. Понять, — сказал философ, — значит простить.

Старик Плешихин неожиданно вскочил со стула, махнул рукой, снял пиджак, жилет и лег на ковер.

— Что с тобой, папа? Что ты делаешь?

— Секи ты меня, что уж там! — сказал чиновник Плешихин и тихо заплакал.

Во имя правды, во имя логики, во имя любви к детям автор принужден заявить, что все рассказанное — ни более, ни менее, как сонное видение чиновника Плешихина...

Заснул чиновник — и пригрезилось.

И, однако, сердце сжимается, когда подумаешь, что дети наших детей, шагая в уровень с веком, уже будут такими, должны быть такими — как умные детишки отсталого чиновника...

Пошли, господь, всем нам смерть за пять минут до этого.

ГРАБИТЕЛЬ

I.

С переулка, около садовой калитки, через наш забор на меня смотрело розовое, молодое лицо—черные глаза не мигали, и усики забавно шевелились.

Я спросил:

— Чего тебе надо?

Он ухмыльнулся.

— Собственно говоря — ничего.

— Это наш сад,— деликатно намекнул я.

— Ты, значит, здешний мальчик?

— Да. А то какой же?

— Ну, как твое здоровье? Как поживаешь?

Ничем не мог так польстить мне незнакомец, как этими вопросами. Я сразу почувствовал себя взрослым, с которым ведут серьезный разговор.

— Благодарю вас,— солидно сказал я, роя ногой песок садовой дорожки.— Поясницу что-то поламывает. К дождю, что ли?..

Это вышло шикарно. Совсем, как у тетки.

— Здорово, брат! Теперь ты мне скажи вот что:

у тебя, кажется, должна быть сестра?

— А ты откуда знаешь?

— Ну, как же... У всякого порядочного мальчика должна быть сестра.

— А у Мотьки Нароновича нет! — возразил я.

— Так Мотька разве порядочный мальчик? — ловко отпарировал незнакомец.— Ты гораздо лучше.

Я не остался в долгу.

— Ага! Клюнуло!

— Что ты говоришь?

— Я говорю: можешь ты представить себе человека, который спрыгнул бы с этой высоченной стены в сад?

— Ну, это, брат, невозможно.

— Так, знай же, о юноша, что я берусь это сделать. Смотри-ка!

Если бы незнакомец не перенес вопроса в область чистого спорта, к которому я всегда чувствовал род болезненной страсти, я, может быть, протестовал бы против такого бесцеремонного вторжения в наш сад.

Но спорт — это святое дело.

— Гоп! — и молодой человек, вскочив на верхушку стены, как птица, спорхнул ко мне с пятиаршинной высоты.

Это было так недосягаемо для меня, что я даже не завидовал.

— Ну, здравствуй, отроче. А что поделывает твоя сестра? Ее, кажется, Лизой зовут?

— Откуда ты знаешь?

— По твоим глазам вижу.

Это было так недосягаемо для меня, что я даже не сказал:

— А теперь?

Эксперимент удался, потому что незнакомец, повертевшись бесплодно, сознался:

— Теперь не вижу. Раз глаза закрыты, сам, брат, понимаешь... Ты во что тут играешь, в саду-то?

— В саду-то? В домик.

— Ну? Вот-то ловко! Покажи-ка мне твой домик.

Я доверчиво повел прыткого молодого человека к своему сооружению из нянькиных платков, камышевой палки и нескольких досок, но вдруг какой-то внутренний толчок остановил меня...

— О, господи,— подумал я.— А вдруг это какой-нибудь вор, который задумал ограбить мой домик, утащить все то, что было скоплено с таким трудом и лишениями: живая черепаха в коробочке, ручка от зонтика, в виде собачьей головы, баночка с вареньем, камышевая палка и бумажный складочный фонарик.

— А зачем тебе? — упрямо спросил я.— Я лучше пойду спрошу у мамы, можно ли тебе показать?

Он быстро, с некоторым испугом, схватил меня за руку.

— Ну, не надо, не надо, не надо! Не уходи от меня... Лучше не показывай своего домика только не ходи к маме.

— Почему?

— Мне без тебя будет скучно.

— Ты, значит, ко мне пришел?

— Конечно! Вот-то чудак! И ты еще сомневался... Сестра Лиза дома сейчас?

— Дома. А что?

— Ничего, ничего. Это что за стена? Ваш дом?

— Да... Вот то окно — папина кабинета.

— Пойдем-ка подальше, посидим на скамеечке.

— Да я не хочу. Что мы там будем делать?

— Я тебе что-нибудь расскажу...

— Ты загадки умеешь?

— Сколько угодно! Такие загадки, что ты ахнешь.

— Трудные?

— Да уж такие, что даже Лиза не отгадает. У нее сейчас никого нет?

— Никого. А вот отгадай ты загадку,— предложил я, ведя его за руку в укромный уголок сада.—В одном боченке два пива — желтое и белое. Что это такое?

— Гм! — задумчиво сказал молодой человек.— Вот так штука! — Не яйцо ли это будет?

— Яйцо...

На моем лице он ясно увидел недовольство, разочарование: я не привык, чтобы мои загадки так легко разгадывались.

— Ну, ничего, — успокоил меня незнакомец. — Загадай-ка мне еще загадку, авось я и не отгадаю.

— Ну, вот, отгадай: семьдесят одежек и все без застежек.

Он наморщил лоб и погрузился в задумчивость.

— Шуба?

— Нет-с, не шуба-с!..

— Собака?

— Почему собака,—удивился я его бестолковости.— Где же это у собаки семьдесят одежек?

— Ну, если ее,— смущенно сказал молодой человек,—в семьдесят шкур зашьют.

— Для чего? — безжалостно улыбаясь, допрашивал я.

— Ну, мало ли... Если, скажем, хозяин чудак.

— Нет, ты, брат, не отгадал!

II.

После этого он понес совершеннейшую чушь, которая доставила мне глубокое удовольствие:

— Велосипед? Море? Зонтик? Дождик?

— Эх, ты! — снисходительно сказал я. — Это кочан капусты.

— А ведь и в самом деле! — восторженно крикнул молодой человек.—Это замечательно! И как это я раньше не догадался. А я-то думаю — море? Нет, не море... Зонтик? Нет, не похоже. Вот-то продувной братец у Лизы! Кстати, она сейчас в своей комнате, да?

— В своей.

— Одна?

— Одна. Ну, что ж ты... Загадку-то!

— Ага! Загадку? Гм... Какую же, братец, тебе загадку? Разве эту: Два кольца, два конца, а посередине гвоздик.

Я с сожалением оглядел моего собеседника: загадка была пошлейшая, элементарнейшая, затасканная и избитая.

Но внутренняя деликатность подсказала мне не отгадывать ее сразу.

— Что же это такое?..— задумчиво промолвил я.— Вешалка?

— Какая же вешалка, если посредине гвоздик,— вяло возразил он, думая о чем-то другом.

— Ну, ее же прибили к стене, чтобы держалась.

— А два конца? Где они?

— Костыли? — лукаво спросил я и вдруг крикнул с невыносимой гордостью:

— Ножницы!!.

— Вот, чорт возьми! Догадался-таки! Ну, и ловкач же ты! А сестра Лиза отгадала бы эту загадку?

— Я думаю, отгадала бы. Она очень умная.

— И красивая, добавь. Кстати, у нее есть какие-нибудь знакомые?

— Есть. Эльза Либкнехт, Милочка Одинцова, Надя...

— Нет, а мужчины-то. Есть?

— Есть. Один тут к нам ходит.

— Зачем же он ходит?

— Он?

В задумчивости я опустил голову, и взгляд мой упал на щегольские лакированные ботинки незнакомца.

Я пришел в восхищение:

— Сколько стоят?

— Пятнадцать рублей. Зачем же он ходит, а? Что ему нужно?

— Он, кажется, замуж хочет за Лизу. Ему уже пора, он старый. А эти банты — завязываются, или так уже куплены?

— Завязываются. Ну, а Лиза хочет за него замуж?

— Согни-ка ногу... Почему они не скрипят? Значит, не новые,— критически сказал я.— У кучера Матвея были новые, так, небось, скрипели. Ты бы их смазал чем-нибудь.

— Хорошо, смажу. Ты мне скажи, отроче, а Лизе хочется за него замуж?

Я вздернул плечами.

— А то как же! Конечно, хочется.

Он взял себя за голову и откинулся на спинку скамьи.

— Ты чего?

— Голова болит.

Болезни — была единственная тема, на которую я мог говорить солидно.

— Ничего... Не с головой жить, а с добрыми людьми.

Это нянькино изречение пришлось ему, очевидно, по вкусу.

— Пожалуй ты прав, глубокомысленный юноша. Так ты утверждаешь, что Лиза хочет за него замуж?

Я удивился.

— А как же иначе?! Как же тут не хотеть! Ты разве не видел никогда свадьбы?

— А что?

— Да ведь будь я женщиной, я бы каждый день женился — на груди белые цветочки, банты, музыка играет, все кричат «ура», на столе икры стоит вот такая коробка, и никто на тебя не кричит, если ты много с'ел. Я, брат, бывал на этих свадьбах.

— Так ты полагаешь,—задумчиво произнес незнакомец,— что она именно поэтому хочет за него замуж?

— А то почему же!.. В церковь едут в карете, да у каждого кучера на руке платок повязан. Подумай-ка! Жду—не дождусь, когда эта свадьба начнется.

— Я знаю мальчиков,— небрежно сказал незнакомец,—до того ловких, что они могли до самого дома на одной ноге доскакать...

Он затронул слабейшую из моих струн.

— Я тоже могу!

— Ну, что ты говоришь! Это неслыханно! Неужели доскачешь?

— Ей-богу! Хочешь?

— И по лестнице наверх?

— И по лестнице.

— И до комнаты Лизы?

— Там уж легко. Шагов двадцать.

— Интересно было бы мне на это посмотреть... Только вдруг ты меня надуешь?.. Как я проверю? Разве вот что... Я тебе дам кусочек бумажки, а ты и доскачи с ним до комнаты Лизы. Отдай ей бумажку, а она пусть черкнет на ней карандашом, хорошо ли ты доскакал!

— Здорово! — восторженно крикнул я.— Вот увидишь,— доскачу. Давай бумажку!

Он написал несколько слов на листке из записной книжки и передал мне.

— Ну, с богом. Только, если кого-нибудь встретишь, бумажки не показывай — все равно, тогда не поверю.

— Учи еще! — презрительно сказал я.— Гляди-ка!

По дороге к комнате сестры, между двумя гигантскими прыжками на одной ноге, в голову мою забралась предательская мысль: что если он нарочно придумал этот спорт, чтобы отослать меня и, пользуясь случаем, обокрасть мой домик? Но я сейчас же отогнал эту мысль. Был я мал, доверчив и не думал, что люди так подлы. Они кажутся серьезными, добрыми, но чуть где запахнет камышевой тростью, нянькиным платком или сигарной коробкой,— эти люди превращаются в бессовестных грабителей.

III.

Лиза прочла записку, внимательно посмотрела на меня и сказала:

— Скажи этому господину, что я ничего писать не буду, а сама к нему выйду.

— А ты скажешь, что я доскакал на одной ноге? И заметь — все время на левой.

— Скажу, скажу. Ну, беги, глупыш, обратно.

Когда я вернулся, незнакомец не особенно спорил насчет отсутствия письменного доказательства.

— Ну, подождем,— сказал он.— Кстати, как тебя зовут?

— Ильюшей. А тебя?

— Моя фамилия, братец ты мой, Пронин.

Я ахнул.

— Ты... Пронин? Нищий?

В моей голове сидело весьма прочное представление о наружном виде нищего: под рукой костыль, на един-

ственной ноге обвязанная тряпками галоша и за плечами грязная сумка с бесформенными кусками сухого хлеба.

— Нищий? — изумился Пронин.— Какой нищий?

— Мама недавно говорила Лиде, что Пронин — нищий.

— Она это говорила? — усмехнулся Пронин...— Она это, вероятно, о ком-нибудь другом.

— Конечно! — успокоился я, поглаживая рукой его лакированный ботинок.— У тебя брат-то какой-нибудь есть, нищий?

— Брат? Вообще, брат есть.

— То-то мама и говорила: много, говорит, ихнего брата, нищих, тут ходит. У тебя много ихнего брата?..

Он не успел ответить на этот вопрос... Кусты зашевелились и между листьями показалось бледное лицо сестры.

Пронин кивнул ей головой и сказал:

— Знавал я одного мальчишку — что это был за пролаза — даже удивительно! Он мог, например, в такой темноте, как теперь, отыскивать в сирени пятерки, да как! Штук по десяти. Теперь уж, пожалуй, и нет таких мальчиков...

— Да я могу тебе найти хоть сейчас сколько угодно. Даже двадцать!

— Двадцать? — воскликнул этот простак, широко раскрывая изумленные глаза... — Ну, это, милый мой, что-то невероятное.

— Хочешь, найду?

— Нет! Я не могу даже поверить. Двадцать пяте-

рок... Ну, — с сомнением покачал он головой, — пойди, поищи... Посмотрим, посмотрим. А мы тут с сестрой тебя подождем...

Не прошло и часа, как я блестяще исполнил свое предприятие. Двадцать пятерок были зажаты в моем потном, грязном кулаке. Отыскав в темноте Пронина, о чем-то горячо рассуждавшего с сестрой, я, сверкая глазами, сказал:

— Ну! Не двадцать? Ну-ка, пересчитай!

Дурак я был, что искал ровно двадцать. Легко мог бы его надуть, потому что он даже не потрудился пересчитать мои пятерки.

— Ну, и ловкач же ты, — сказал он изумленно. — Прямо-таки, огонь. Такой мальчишка способен даже отыскать и притащить к стене садовую лестницу.

— Большая важность!—презрительно засмеялся я.— Только итти не хочется.

— Ну, не надо. Тот мальчишка, впрочем, был попрытчей тебя. Пребойкий мальчик. Он таскал лестницу, не держа ее руками, а просто зацепивши перекладиной за плечи.

— Я тоже смогу, — быстро сказал я. — Хочешь?

— Нет, это невероятно! К самой стене!..

— Подумаешь — трудность!

Решительно в деле с лестницей я поставил рекорд: тот, пронинский мальчишка, только тащил ее грудью, а я при этом еще, в виде премии, прыгал на одной ноге и пудел, как пароход.

Пронинский мальчишка был посрамлен.

— Ну, хорошо, — сказал Пронин. — Ты удивитель-

ный мальчик. Однако, мне старые люди говорили, что в сирени тройки находить труднее, чем пятерки...

О, глупец! Он даже и не подозревал, что тройки попадаются в сирени гораздо чаще, чем пятерки! Я благоразумно скрыл от него это обстоятельство и сказал с деланным равнодушием:

— Конечно, труднее. А только я могу и троек достать двадцать штук. Эх, что там говорить! Тридцать штук достану!

— Нет, этот мальчик сведет меня в могилу от удивления. Ты это сделаешь, несмотря на темноту?! О, чудо!

— Хочешь? Вот увидишь!

Я нырнул в кусты, пробрался к тому месту, где росла сирень, и углубился в благородный спорт.

Двадцать шесть троек было у меня в руке, несмотря на то, что прошло всего четверть часа. Мне пришло в голову, что Пронина легко подпадут: показать двадцать шесть, а уверить его, что тридцать. Все равно, этот простачек считать не будет.

IV.

Простачек... Хороший простачек! Большего негодяя я и не видел. Во-первых, когда я вернулся, он исчез вместе с сестрой... А, во-вторых, когда я пришел к своему дому, я сразу раскусил все его хитрости: загадки, пятерки, тройки, похищение сестры и прочие штуки — все это было подстроено для того, чтобы отвлечь мое внимание и обокрасть мой домик. Действительно, не успел я подскакать к лестнице, как сразу

увидел, что около нее уже никого не было, а домик мой, находившийся в трех шагах, был начисто ограблен: нянькин большой платок, камышевая палка и сигарная коробка — все исчезло. Только черепаха, исторгнутая из коробки, печально и сиротливо ползала возле разлитой банки с вареньем...

Этот человек обокрал меня еще больше, чем я думал в то время, когда разглядывал остатки домика: через три дня пропавшая сестра явилась вместе с Пронины, и, заплакав, призналась отцу с матерью:

— Простите меня, но я уже вышла замуж.

— За кого?!.

— За Григория Петровича Пронина.

Вдвойне это было подло: они обманули меня, надсмеялись надо мной, как над мальчишкой, да, кроме того, выхватили из-под носа музыку, карету, платки на рукавах кучеров и икру, которую можно было бы на свадьбе есть, сколько влезет — все равно, никто не обращает внимания.

Когда эта самая жгучая обида зажила, я как-то спросил у Пронина:

— Сознайся, зачем ты приходил: украсть у меня мои вещи?

— Ей-богу, не за этим,— засмеялся он.

— А зачем взял платок, палку, коробку и разбил банку с вареньем?

— Платком укутал Лизу, потому, что она вышла в одном платье, в коробку она положила разные свои

мелкие вещи, палку я взял на всякий случай, если в переулке кто-нибудь меня заметит, а банку с вареньем разбил нечаянно...

— Ну, ладно,— сказал я, делая рукой жест отпущения грехов.— Ну, скажи мне хоть какую-нибудь загадку...

— Загадку? Изволь, братец. Два кольца, два конца, а посредине...

— Говорил уже! Новую скажи...

— Новую?.. Гм...

Очевидно, этот человек проходил весь свой жизненный путь только с одной этой загадкой в запасе. Ничего другого у него не было... Как так живут люди— не понимаю.

— Неужели больше ты ничего не знаешь!..

И вдруг — нет! Этот человек был решительно не глуп — он обвел глазами гостиную и разразился великолепной новой, очевидно, только что им придуманной загадкой:

— Стоит корова, мычать здорова. Хватишь ее по зубам — вою не оберешься.

Это был чудеснейший экземпляр загадки, совершенно меня примиривший с хитроумным шурином.

Оказалось:

— «Рояль».

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

День делового человека 3

Рождественский день у Киндяковых 14

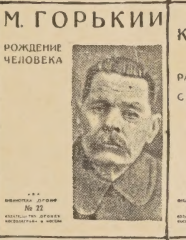
Славный ребенок 24

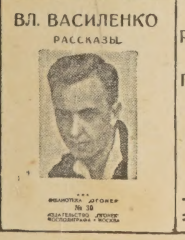
Вечером 31

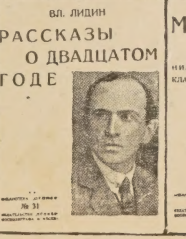
Детвора 36

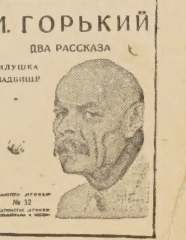
Грабитель 42

Вышедшие книжки Библиотеки «Огонек».









ЦЕНА 15 КОП.

ПОДПИСКА НА БИБЛИОТЕКУ „ОГОНЕК“

Еженедельно ОДНА книжка:

1 мес.—50 к., 3 мес.—1 р. 50 к., 6 мес.—3 р., 1 год—5 р.

Еженедельно ДВЕ книжки:

1 мес.—1 р., 3 мес.—3 р., 6 мес.—5 р., 1 год—10 р.

АДРЕС:

Москва, Тверской бульвар, д. 26, телефон 5-51-69.

Издательство „ОГОНЕК“.

Главлит № 57638/а. Тип. ФЗУ им. Борщевского, Б. Садовая, 23. Тир. 50.000